

18+

Вячеслав
Вячеславович
Киктенко

Полюби со мной

Антология одного
стихотворения

Вячеслав Вячеславович Киктенко

Полюби со мной. Антология одного стихотворения

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=58859014

ISBN 9785005145789

Аннотация

Эта книга – пунктирный итог работы нескольких поколений поэтов, нескольких веков. Здесь кратко даны основные вехи судьбы и творчества поэтов, наиболее интересные, порой курьёзные, порой драматические события в их реальной жизни. Книга может стать методическим пособием для освоения основ русской классики в школах, колледжах, университетах.

Содержание

Вячеслав Киктенко	5
АННЕНСКИЙ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ	15
СЛУЧЕВСКИЙ	39
Конец ознакомительного фрагмента.	52

**Полюби со мной
Антология одного
стихотворения
Вячеслав Вячеславович
Киктенко**

© Вячеслав Вячеславович Киктенко, 2020

ISBN 978-5-0051-4578-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Вячеслав Киктенко

ПОЛЮБИ СО МНОЙ

Прозопоэтическая антология одного стихотворения.

Русские поэты 18, 19, 20 веков. Судьба и творчество. Для учащихся старшего и среднего возраста.

Эти краткие очерки – новое открытие звёздной плеяды русских поэтов четырех последних веков. Цель их – показать, что поэзия по-прежнему самое интересное, самое сильное, самое жгучее, что есть в языке, в литературе. Автор ведет страстный, личностный разговор с читателями всех возрастов.

Это взволнованный рассказ о том, как автор, поэт Вячеслав Киктенко, открывал для себя (а теперь – и для других) в «скучной», подчас покрытой пылью веков судьбе старых поэтов сверкающие жемчужины. Они по-настоящему живы, современны навсегда. Это не архивные разыскания, это – объяснение в любви. Отсюда и название. Автор разговора приглашает читателя пройти тем же путем, что прошёл сам когда-то, и по-настоящему полюбить вместе с ним классических, но порою уже порядочно подзабытых поэтов. Учитывая печальный опыт многотомных академических изданий и неподъемных учебных хрестоматий, автор нашел лаконичную, обнаженную форму – лишь одно стихотворение любо-

го автора, будь то немеркнувший Пушкин, или же «полутеневой» Державин, или вовсе забытый Ржевский...

Эта книга – своеобразный, пунктирный, итог духовной работы нескольких поколений поэтов, точнее – нескольких веков. Здесь кратко даны основные вехи судьбы и творчества поэтов, а также наиболее интересные, порой курьёзные, порой драматические события в их реальной жизни. Они снова оживают и становятся нашими современниками на страницах книги ПОЛЮБИ СО МНОЙ. Или – АНТОЛОГИЯ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ, где за основу взято лишь одно стихотворение любого из классиков, и разговор ведётся именно вокруг него.

Книга может стать методическим пособием для освоения основ русской классической поэзии в школах, колледжах, университетах.

Поэты, чьё творчество отображено в работе:

ГОЛЫШИ (вступление)

Апухтин Алексей Николаевич 15 (27) сентября 1840 – 17 (29) августа 1893

Анненский Иннокентий Федорович 20 августа (1 сентября) 1856 – 30 ноября (12 дек.) 1909

Баратынский Евгений Абрамович 19 февраля (2 марта) 1800 – 29 июня (11 июля 1844)

Батюшков Константин Николаевич 18 (29) мая 1787 – 7 (19) июля 1855

Бенедиктов Владимир Григорьевич 5 (17) ноября 1807 –

14 (26) апреля 1873

Вельтман Александр Фомич 8 (20) июля 1800 – 11 (23) января 1870

Вяземский Петр Андреевич 12 (23) июля 1792 – 10 (22) ноября 1878

Григорьев Аполлон Александрович 20 июля (1августа) 1822 – 25 сентября (7окт.) 1864

Давыдов Денис Васильевич 16 (27) июля 1784 – 22 апреля (4 мая) 1839

Дельвиг Антон Антонович 6 (17) августа 1798 – 14 (26) января 1831

Державин Гаврила Романович 3 (14) июля 1743 – 8 (20) июля 1816

Дмитриев-Мамонов Матвей Александрович 14 (25) сентября 1790 – 11 (23) июня 1863

Кольцов Алексей Васильевич 3 (15) октября 1809 – 29 октября (10) ноября 1842

Крылов Иван Андреевич 2 (13) февраля 1769 (или 8?) – 9 (21) ноября 1844

Кюхельбекер Вильгельм Карлович 10 (21) июня 1797 – 11 (23) августа 1846

Лермонтов Михаил Юрьевич 5 (15) октября 1814 – 15 (27) июля 1841

Маяковский Владимир Владимирович 7 (19) июля 1893 – 14 августа 1930

Мей Лев Александрович 13 (25) февраля 1822 – 16 (28)

мая 1862

Минский Николай Максимович 15 (27) января 1855 –
2 июля 1937

Некрасов Николай Алексеевич 28 ноября (10 декабря)
1821 – 27 декабря 1877 (8 янв.1888)

Полонский Яков Петрович 6 (18) декабря 1819 – 18 (30)
октября 1898

Пушкин Александр Сергеевич 26 мая (6 июня) 1799 –
29 января (10 февраля) 1837

Ржевский Алексей Андреевич 19 февраля (2 марта)
1737 – 23 апреля (5 мая) 1804

Случевский Константин Константинович (26 июля 1837 –
25 сентября 1904гг.)

Толстой Алексей Константинович (24 августа 1817 –
28 сентября 1875гг.)

Тютчев Федор Иванович 23 ноября (5 декабря) 1803 –
15 (27) июля 1873

Фет Афанасий Афанасьевич октябрь? или ноябрь? 1820 –
21 ноября (3 декабря) 1892

Языков Николай Михайлович 4 (16) марта 1803 – 26 де-
кабря 1846 (7 января 1847)

Статьи опубликованы в столичных журналах и газетах.

Лирическое вступление:

Гольши

У моря, на пустынном галечном пляже, накупавшись
до одури, опять предавался блаженному, с детства заведён-

ному ритуалу: метал плоские камушки по воде – «выпекал блинчики». И опять, в который уж раз, изумлялся

– Да что же это такое?!

Плоский, идеально обточенный камушек, словно бы специально подготовленный природой для красивой судьбы «бегущего по волнам», сверкнув раз-другой над водною гладью, безнадежно зарывается в море и скрывается там от глаз... что же такое происходит с ним, как и с некоторыми другими, сходными с ним по своей пригожести и ладности?..

А вот другой камушек, – тоже довольно плоский, но куда невзрачней первого своею шероховатостью и некоторой даже корявостью, – ка-ак он извернулся близ воды, ка-ак он пошёл сверкать по мелким волнам!.. – так и скрылся в слепящих отблесках солнца, я даже не успел сосчитать его блистательных подскоков...

Что же это такое?

По теории, «по идее» самый гладкий камень и скакать должен далее всех других, не столь гладких...

Не тут-то было.

Хотя, объективности ради, следует признать, что лучшей формы камень обычно и по воде скачет лучше других, но я здесь говорю о странностях исключений из правила. А их, исключений, что-то очень уж немало, подозрительно как-то немало...

...и вдруг поймал я себя на мысли, что далеко не в первый раз сталкиваюсь с такой «неправильностью», удивитель-

ной и прежде, но никогда прежде не казалось мне это чем-то противоестественным. Ну, зароется красивый камушек в воду, ну и что? Бормотнёшь про себя – « не судьба», и тут же, не задумываясь, кидаешь другой...

А вот сегодня задумался.

И показалось вдруг, что судьба камушков напоминает нечто знакомое... мучительно даже знакомое...

Ба! – да не судьбы ли поэтов зеркально отсвечивают в судьбах прибрежной гальки? – озарился я блаженным идиотизмом. И стал давать камушкам имена. Имена поэтов.

Вот, например, чёрный, великолепно отглаженный полуовальный голыш... похоже, базальт с искорками кварцитовых вкраплений... может быть это – Пушкин?

А ну-ка, попробуем...

Да-а, это действительно «Пушкин»!

Исчерна сверкающей молнией он пронёсся над водной стихией, пролетел с блистательными подскоками и – неразлично глазу – скрылся где-то вдали... а может быть, и поныне скачет?..

Это – Судьба. Да какая, какая судьба!..

А вот желто-белый, еще более идеальный камушек: плоский, полностью закруглённый – настоящий солнечный «блинчик». Да неужто в природе может быть гений идеальней Пушкина?..

А мы испытаем.

Но что же это такое?! – всего лишь три разочка успел

новый красавец, наш «новый Пушкин», сверкнуть над водой, как набежавшая, совсем небольшая волна опустила его ко дну. Вот тебе и Пушкин!.. Нет, это был какой-то другой, неизвестный гений, по изначальному замыслу, может быть, даже ещё более высокий, чем уже известный и любимый всеми и навсегда, но которому почему-то не благоволила судьба...

А вот бордовый, тяжеловатый, не очень броский на вид, с бугорками и вмятинами камушек. Такой, скорее всего, не поставит рекорда, но уж мелкую волну преодолеет – тяжестью своею, основательностью, какой-то внутренней, не сразу ощутимой ладностью... кто же это такой?

А мы испробуем.

...два... три... пять... семь... девять... целых двенадцать раз он, тяжеловес, подскочил над водой! Его не смутила волна от проходившей яхты – как нож сквозь масло прошёл он её насквозь и вышел на чистую гладь, и ещё, и ещё поскакал...

Рекорда он не побил, но остался, остался в памяти. Как один из лучших остался.

Да это же Некрасов!

И правда, – судьба не сулила ему калачей, путь начинался во мраке. Первая книга стихов «Мечты и звуки» была провальной, поэт не знал как выбраться из позора и безысхода нищеты, но – преодолел всё! Он основал целую школу, его и поныне (как мало кого другого) любят русские люди. И – читают! Читают не только в школе. Это судьба. Но судьба –

преодолённая.

...а вот золотистый, не самый плоский, но очень красивый камушек с волнистыми естественными «кудряшками» поверху, уложенными тысячелетиями приливов и отливов. Он невелик размером и не обещает, вроде бы, чуда...

Но Чудо случается именно с ним! – Он, поначалу зарывшийся под воду и уже, кажется, сгнувшийся там навсегда, внезапно выскакивает на поверхность и – начинает свой бес- смертный полёт...

Пронзительный, золотистый, он сливается в дальней дали с бликами солнца и уходит, чудится, не в синюю глубину моря, а в белый высокий свет поднебесья...

Да это ж Есенин!

Право слово, Есенин. – Ведь задержись он в начале пути чуть подольше на работе в московской типографии, в невыразительном, ненужном ему окружении – пропал бы поэт. Зачахнул бы, распложая бесконечные и безнадёжные подражания Надсону, боготворимому тогда не только им, но и многими его московскими товарищами. Питерские столичные салоны (как бы их потом ни охаивал сам поэт) сыграли роль великолепной стартовой площадки для рывка в вечность. Крестьянская сметка вкупе с подлинным изначальным даром сделали дело – именно там он сумел по настоящему (ибо ещё и – со стороны, исчужа) разглядеть себя самого, истинную свою сущность и силу. Он попал в нужный размер, наклон, ритм и – пошёл, и пошёл, и – полетел...

До сих пор горит и сверкает, как солнце.

Блинчики, блинчики, голыши... сколько же вас таится на пустынном галечном пляже! И у каждого – своя судьба.

Тут, у кромки необъятной влажной стихии с особой резкостью осознаёшь: изначальный талант, это ещё далеко не всё.

А непредвиденные помехи? —

внезапный бриз, «внеплановые» волны от яхт и яликов?..

А угол наклона?..

А направляющая рука?..

Судьба порою сильнее – неборимее дара, даже самого высокого. Кто скажет, сколько безвестных гениев затоплено волною? Кто их сочтёт, погашенных пучиной? И не там ли, во мраке времён и вод погребены, среди гор заурядностей, самые лучшие, немислимо высокие – выше всех известных нам – гении? Трудно представить такое, ну а если всё же, всё же, всё же?...

Мы знаем лишь тех, кто состоялся. Чьи имена определены судьбой. И, может быть, судьбой в большей мере, нежели Первоначальным Замыслом.

Среда, капризы стихии, сила характера, воля, круг знакомств, случай... да и просто удача, – сколько же их требуется, этих составляющих, чтобы из десятков провиденциальных гениев хотя бы один стал видим воочью?..

В совершенной наготе, с обнажённой душой и сердцем, беззащитные перед несоразмерными силами мира и всех его

стихий, не всегда добрых стихий, пустились они в путь, дабы стать, или хоть попытаться стать красивой и бесполезной для большинства безучастных зрителей легендой.

Легендой под названием «Бегущие по волнам»...

Одно слово – голыши.

АННЕНСКИЙ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

(20 августа (1 сентября) 30 ноября (12 декабря) 1855 –
1909

Пушкин на вопрос: «Цель поэзии?» ответил по-пушкински кинжально, рязяще и непререкаемо: «Цель поэзии – сама поэзия». В этом ответе заключалась та полнота бытия, что была дарована одному только времени в судьбе России, и одному только человеку. Кажется теперь иногда, что и не совсем даже человеку, но чему-то большему, гораздо большему, нежели существо из плоти и крови – чему-то нечеловечески гармоничному...

Впрочем, не станем кощунствовать, относя реального земного человека к области неземного. Заметим только, что тайна пушкинской гармонии вообще самая великая тайна поэта. Да, в стихах его и прозе рассыпано столько текстологических загадок, что хватило литературоведам не на одно столетие. Но не они поражают душу читателя, а гармония – как, откуда явлено это чудо, это равновесие страстей, мыслей, ритмов? Да и где сам поэт? Вроде бы – всюду. И в то же самое время – как бы нигде. Вот и в ответе этом, про цель поэзии, слышится голос неземной, но исполненный в то же время всей полноты и тайны бытия. Воздух эпохи, плотность

материи, полнота дара такова, что слова точно бы отражаются в морозном кристалле времени во всей их целостности...

Почему речь зашла о Пушкине в разговоре об Анненском? Да хотя бы потому, что более высокого образчика в русской поэзии для самого Иннокентия Федоровича и не было. Были античные авторы, которыми он всю жизнь увлечённо занимался, но лишь Пушкин, кажется, был для него тем магическим зеркалом, в которое он вглядывался всю жизнь, творчески соизмеряя свою и его судьбу, и не претендуя в то же время на тождество судьбинное, а тем более равенство иерархическое.

А вот в судьбе обоих поэтов была одна общая точка отсчёта, да какая! – Царское Село, Царскосельский Лицей, где один учился, а другой преподавал долгое время, даже возглавлял это священное для русских поэтов место. Граф Василий Комаровский (трагически прекрасный, явно недооценённый поэт), Ахматова, Гумилёв... всех не перечислить. Но связаны они все, как ни странно, связаны через эпохи какой-то единой таинственной нитью – пушкинской чистотою тона, которого после уже и не встречалось, кажется, в русской поэзии. Хотя талантами она не оскудевала. Но это уже другой разговор.

Царское село связало по судьбе Пушкина и Анненского. Только путь одного поэта с него начался, а путь другого закончился. Словно бы некий зеркальный подтекст тут закольцован: начало и конец, исток и устье...

Да, похоже, что устье русской классической поэзии наметилось именно с творчества Анненского, которое и знаменовало собою то истончение плотности бытия, размывание его полноты, разрыхление самого воздуха поэзии, что впоследствии обозначат одним довольно противным и выпреним словом – Декаданс. Это понятие разобьют на множество видов и подвидов – символизм, акмеизм, футуризм... всех «измов» не счесть. Но суть остаётся одна – целостность и полнота пушкинского слова будет дробиться, размываться, и нередко в угоду эксперименту подвергаться чуть ли не химическому анализу, чуть ли не радиоактивному...

Винить во всём этом Анненского, как предтечу, совершенно глупо и пошло. Я далёк не только от самой этой мысли, но даже от малейшего побуждения к ней. Просто Анненскому, как наиболее тонкому, талантливому и беспримерно честному поэту своей эпохи выпала эта роль – быть провозвестником нового поэтического времени. Он первый почувствовал в воздухе что-то неладное. Он зафиксировал в своей тончайшей лирике самую нехватку воздуха, чуть ли даже не на уровне атмосферного явления зафиксировал. Всем своим творчеством он словно бы говорит – воздух рушится, материя изнашивается, и в её просветах, в дырах её сквозит уже воздух иной, где порою мерцают прогалы инобытия...

Так какой же он к черту поэт, если не попытается заглянуть в эти прогалы!?

Если не попытается высказать то несказанное, к чему, ка-

жется, и рвались поэты всех предшествующих времён – поэты, пророки, безумцы?..

Но в отличие от других поэтов, подчас гениально одарённых, Анненский не просто хочет увидеть иные миры и поработить воображение читателя увиденным – хаос ли там полнейший сквозит, гармоничное ли нечто вырисовывается, или вообще некая несурезица – лишь бы читатель был поражён... нет. Анненский и в этих видениях инобытия ищет и – находит-таки! – связь глубоко человеческую, связь не просто голых миров, но связь всех духовных наработок человечества, связь культуры и веры. А иначе для чего они, эти иные миры, если для человека они холодны, пусты и попросту, быть может, непристойны, непригодны для бытия?

Так Христианство – единственно и впервые даровало человеку чудесную возможность личностного, а не абстрактного общения с миром Горним.

Так поэт сумел связать и очеловечить, «затеплить» культурой разные миры – мир внутреннего человека с миром внешним, иным, ещё не знаемым, еще только мерцающим сквозь толщу вод и времён:

«Я на дне. Я печальный обломок.

– Надо мной зеленеет вода...»

пишет он в одном из своих шедевров, который мы и взяли за основу в этой главе книги «Антология одного стихотворения», в главе об Иннокентии Фёдоровиче Анненском.

Тютчев, некогда поражённый картиной эпидемии маля-

рии в окрестностях Рима, написал гениальные стихи, где заражённый воздух, где это, «во всём разлитое таинственное зло» – скрыто благоухающей природой (а природа была для пантеиста Тютчева – и в то же время христианина Тютчева! – такое случается в поэзии, – природа бала для поэта божеством). И вот, эта благоухающая природа, этот покров прекрасного предстаёт для поэта как высшая милость беспощадного к человеку мира. Этим покровом сама смерть смягчает для людей своё ужасное явление, красотой природы она, смерть:

**«Как тканью лёгкою свой образ прикрывает,
Да утаит от них приход ужасный свой!...»**

Для Тютчева здесь надежда и милость именно природа – эта вечно прекрасная природа, и лишь в ней он видит всеобщую пантеистическую связь разных миров.

А вот для Анненского одного пантеизма уже мало, ему важно личностное устремление даже в иной жизни. Ему важно знать, что жизненные усилия были не только прекрасной мечтой, не одним только плодом творческого воображения множества поколений поэтов, мыслителей, скульпторов, ему, «печальному обломку» прекрасного, лежащего где-то на дне, важно увидеть в живой связи времён и миров то ЦЕЛОЕ, частичкой чего он всегда себя ощущал и без чего не мыслил целостного бытия...

Остро, и даже порою по-животному хищно чувствующие поэты нового, 20-го уже века, выразили этот распад воздуха

и материи иногда даже более осязаемо, нежели Анненский. Но они и не были первыми.

Так ранний Пастернак, в чисто ребяческом, а потому и не отдающем себе отчёта восторге, буквально кричал:

**«Весна, я с улицы, где тополь удивлён,
Где даль пугается, где дом упасть боится,
Где воздух синь, как узелок с бельём
У выписавшегося из больницы...»** —

молодого поэта просто и непосредственно радует эта «расшатанность» воздуха, бытия, и более здесь он ни о чём не задумывается. Поздние раздумья придут к нему потом, когда сомкнётся для него вековая связь культур и традиций, а сейчас – просто ликование! Ноздрями втянул грозовой воздух времени, почувял некий распад, нашёл яркие слова и образы – всё, задача поэта исполнена, стихи состоялись. И они действительно состоялись, они живые, острые, молодые.

А вот для Анненского этого было явно недостаточно. Ему необходимо увидеть за частным целое, ему недостаточно ликования лишь от того, что он прекрасный, но всё же обломок. Всего лишь обломок прекрасного Целого. И он задыхается – от нехватки воздуха, кислорода, от нехватки понимания окружающими духа трагедийности накатывающихся времён.

Ахматова тонко, тоньше всех остальных почувствовала эту онтологическую тоску и трагедию любимого поэта, внешне вполне, казалось бы, благополучного человека, уважаемо-

го преподавателя словесности:

**«А тот, кого учителем считаю,
Как тень прошёл и тени не оставил,
Весь яд впитал, всю эту одурь выпил,
И славы ждал, и славы не дождался,
Кто был предвестьем, предзнаменованьем,
Всех пожалел, во всех вдохнул томленьё —
И задохнулся...»**

Так написала она в 1945 году, из другой эпохи, из другого – уже не метафизически а реально грозового воздуха.

Примерно в эти же времена другой русский поэт и писатель, с другого континента слал миру свои, тревожащие не только душу, но и весь новый социум сигналы: «СОС!», «Воздуха почти не осталось!», «Мы становимся прозрачными!», «Скоро не останется ..» **Тайны!**

Его роман «Приглашение на казнь» буквально кричит об этом: главного героя, несчастного Цинцинната Ц. судят за непрозрачность. Это главное преступление – быть непрозрачным, сохранить личностное начало в насквозь опрозраченном безличностном мире. Во всяком случае – по версии романа. Так в эпоху позднего Рима главным преступлением считалось быть христианином. То есть нести личностное начало в общей языческой массе.

В странном и, кажется, пророческом мире романа Набокова, во всей его атмосфере разлит тревожный сигнал-вопрос – как человеку сохранить себя в мире новых технологий

и реалий, буквально раздевающих человека? А Ведь Набоков вряд ли тогда слышал о компьютерах, и тем более о виртуальных способах «опрозрачивания» личной жизни человека, его банковских счетов и т. д. Он просто чуял нечеловеческой своей интуицией, что это всё грядет, и писал, кричал, предупреждал об этом.

А то, что воздух рушится, и сквозь него видно иное, он знал уже давно, но со всей своей интеллектуальной трезвостью говорил лишь о максимальной, на его взгляд, возможности зрения человека – о счастливой возможности угадать за толщей вод, времён и миров лишь корабли, проплывающие в страшной дали. И даже не сами корабли увидеть (для него неважно, кажется, что они неведомо и неизвестно плывущие), а попробовать разглядеть за гигантскими пространствами – там, в вышине – тени, лишь тени этих кораблей!.. *провидящего чужие чьи куда*

А вот для Анненского это не безличные тени. Да они, тени, и ни к чему для него, если они вот такие – безличные. Для него не безличными были и , и миры. Он их ощущает не только душою, но и всей физиологией поэта. Вся его сущность таинственно сочеталась *этот тот* **«...тем светом, как растёт трава и ходит стрелка часовая...»**

Вообще-то, по сути своей, сочеталась несочетаемым. Но вот, поди ж ты, у Анненского – сочеталось! Порою сами названия стихотворений у него говорят за себя, например: **«То и Это»**

А это значит, что не проклинать надо страшное в или мире, а принять его, принять даже так, гибельно зная, что если нужно, если честно, если по судьбе и последней правде, то:
том этом

**«...надо лечь в угарный,
Голубой туман костра,
Если тошен луч фонарный
На скользоте топора...»**

Он не просто знает, что соприсутствие разных миров реально, он это всей кожей ощущает, и он просто фиксирует – иначе не могу сказать – фиксирует жутковатое:

**«...что-то по самые плечи
В землю сейчас уходило...»**

В одном из самых страшных своих – по судьбе и культуре страшных произведений, в стихотворении «Петербург», даже зная, даже провидя прошлое и будущее русской истории, он не отрекается ни от судьбы, ни от истории, ни от культуры в их трагедийности. Не перечёркивает ни , ни даже провидя, кажется, в какой братоубийственной схватке они вскоре сойдутся: *тех других*,

**«...я не знаю, где и где , вы мы
Только знаю, что крепко мы слиты.
Сочинил ли нас царский указ?
Потопить ли нас шведы забыли?
Вместо сказки в прошедшем у нас
Только камни да страшные были.**

**Только камни нам дал чародей,
Да Неву буро-желтого цвета,
Да пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета...»**

Он принимает Россию, её Историю – целиком. Так же, как принимает и , и миры. Но для него, в отличии от других поэтов, именно Культура и есть та самая живая ниточка, или даже та самая тростинка, через которую дышат под водою, переходя омуты и тайные броды. А этим омутом, который следует перебрести, и была, кажется, для Анненского – жизнь... *тот этот*

А вот Культура для него – и Вечность, и Личность, и Человечность в одном лице. И недаром же он так тоскует о Целом, лёжа печальным обломком на дне. Тоскует ещё и потому, что знает – и о нём тоже тоскуют... тоскует что-то родное – там, высоко-высоко:

**«..там тоскует по мне Андромеда
С искаленной белой рукой...»**

Знаменитая статуя из Пушкинского (Екатерининского) сада тоже ведь знак, да какой! По преданию она, Андромеда, была отдана морскому чудовищу, а после смерти превратилась в созвездие.

И поэт, прекрасно знавший мифологию, любил, очень любил этот, видимо глубоко соприродный ему, мотив. Не об этом ли он говорил в самом, пожалуй, знаменитом своём стихотворении. В самом известном, во всяком слу-

чае, широко расцитированном и распетом исполнителями романсов стихотворении:

**«Среди миров, в мерцании светил
Одной звезды я повторяю имя...»**

Это, конечно, лишь предположение, что он здесь говорил именно про Андромеду, но всё же, всё же, всё же – а почему бы и нет?..

Устал Анненский рано, он не прожил и 55 лет. Умер на вокзале, – от инфаркта, по медицинскому заключению.

А по слову поэта – задохнулся.

Да ведь и вокзал, как символ (отбытия куда бы то ни было), также символичен. Зов иных миров поэт, под конец жизни, воспринимал всё чаще как бред. Или даже как бредовый шепот, томивший его «постылый покой». Это уже не был тот ясный и вечный голос, который звучал и звенел в молодые годы, и обещал невозможное... Помните? *отбытия*

«...ты придёшь и на голос печали,

Потому что светла и нежна,

Потому что тебя обещали

Мне когда-то сирень и луна...»

Теперь голоса, шёпоты и обещания становились иными.

И если на вопрос «Цель поэзии?» Пушкин отвечал – «Цель поэзии – сама поэзия», то Анненский на вопрос, самому же себе и поставленный (в 1904 году) – «Что такое поэзия?», ответил с той честной неопределённостью, которая во многом и отвечала его творчеству – он написал так: «Что

такое поэзия? Этого я не знаю»...

А вот то, что Пушкинский парк со статуей Андромеды был не просто садом для него, даже сильно уставшего от шума жизни, но некоей поэтической проекцией Сада Небесного, кажется вполне очевидным.

Ведь не случайно там, именно там хотел поэт встретиться с Целым – и это была для него встреча с живым, одухотворённым, человеческими устремлениями возделанным, поколениями людей возлюбленным Целым, а не просто встреча с экзотическим садом, пусть даже и прекрасным...

На земле, где всё меньше оставалось для поэта воздуха, Анненскому становилось душно. Он испил свою чашу, свой земной воздух, и – «печальный обломок» – глядел теперь уже всё чаще, всё страстнее глядел туда, ввысь, где белело ему сквозь толщу воды чудесное Целое.

**«Я на дне, я печальный обломок,
Надо мной зеленеет вода.**

**Из тяжёлых стеклянных потёмок
Нет путей никому. Никуда...**

Помню небо, зигзаги полёта,

Белый мрамор, под ним водоём,

Помню дым от струи водомёта,

Весь изнизанный синим огнём...

Если ж верить тем шёпотам бреда,

Что томят мой постылый покой,

Там тоскует по мне Андромеда

С искаленной белой рукой.

20 мая 1906

До конца земной жизни оставалось три с небольшим года.

До Вечности – практически ничего.

Она уже вырвала его из Времени.

А.К.Толстой

Алексей Константинович Толстой, «один из трёх великих» Толстых (24 августа (5.09) – 28 сентября (10.10)гг.), вёл свою родословную по отцовской линии от графского рода Толстых (собственно, все «три великих» были родственниками в той или иной степени), отцом его был граф К.П.Толстой, с которым ребёнка разлучили сразу после рождения. Явный верх взяла материнская линия, очень мощная, родовитая. Достаточно сказать, что прадедом поэта был последний украинский гетман Кирилл Разумовский, а дедом граф А.К.Разумовский, бывший сенатором при Екатерине Второй, а потом министром народного просвещения при Александре Первом. Не будет преувеличением сказать, что русский Царь Александр Второй и русский Поэт Алексей Толстой были очень близко знакомы с раннего детства, вместе воспитывались, и только врождённое благородство и чувство меры не позволяли А.К.Толстому в зрелые годы слишком тесно общаться (м.б. – злоупотреблять общением в понимании поэта?) с «царём-батюшкой». Впрочем, поэт был всегда желанным гостем в царском доме, и прекрасно знал об этом.

1817 1875

После развода с К.П.Толстым воспитывала его мать и дядя, известный литератор, писавший под псевдонимом Антоний Погорельский, автор знаменитой волшебной сказки для детей «Чёрная курица, или Подземные жители». Материнское имение Красный Рог, очень любимое поэтом, стало и колыбелью, и последним его пристанищем.

А.К.Толстой с самого раннего детства, уже по одному только факту причастности к самым влиятельным родам России, ощущал её историю как неразрывное целое со своим внутренним миром. А уж талантом, тем более, Бог явно не обделил русского поэта, драматурга, писателя. Доныне роман «Князь Серебряный» одна из любимейших исторических книг русского читателя всех возрастов. Доныне драматическая трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович», «Царь Борис» не сходит со сцен самых прославленных театров, и в каждом времени открываются всё новые повороты этой выдающейся трилогии.

И всё-таки мне представляется, что бессмертный «Козьма Прутков» (в соавторстве с братьями Жемчужниковыми) и особенно лирика, баллады, былины и стихотворные притчи А.К.Толстого – это самое главное, самое сокровенное в его творчестве. Начиная с раннего, ставшего народной песней стихотворения «Колокольчики мои, цветики степные...» до самых последних поэтических его произведений он оставался верен своей, только лире. Я это подчеркиваю потому, что творческий путь Толстого не только не был

устлан розами, но прошёл в мучительных испытаниях и самого различного рода соблазнах: его политические взгляды, оценки русской истории и современности, его литературные привязанности и пристрастия менялись не раз в течение не столь уж долгой жизни. Да, Господь Бог и родители наградили его не одним лишь богатырским здоровьем, но и знатностью, и редким для русского поэта богатством, и всё же...
своей

Кажется почему-то, не дорожил он особенно ни тем, ни другим. Во всяком случае, 58 лет – не тот срок, который должен был прожить этот колосс. Гулял – на широкую ногу, пил – не слабо, совершенно, кажется, не задумываясь о последствиях. Жил от души, и жил для Главного – для творчества, для осмысления самого сокровенного: для чего же явлен он в этот мир, почему избран голосом русской исторической лиры, что он должен и сможет сказать, спеть о своей великой, умонепостигаемой стране? Он именно что хотел её, ту самую страну, о которой Тютчев скажет своё, знаменитое: «Умом Россию не понять...». А Толстой хотел понять, и всю жизнь – от баллады к балладе, от притчи к притче, от едкого сарказма до нежнейшей лирики – по крупицам, по частицам постигал её, постигал... Постигнул ли? Ответа на то не дано никому, но путь свой прошёл с поразительной творческой отвагой и непоколебимой честностью. **постигнуть, понять**

Перед ним были открыты все пути. Буквально все. Он мог стать важным сановником. Мог стать во главе любого,

самого «передового», самого «модного» литературного направления, журнала, газеты, и с его мнением считались бы – не посмели бы не считаться! Он мог современников не менее, чем Некрасов, Чернышевский, Писарев, Погодин, Страхов... **влиять на умы**

Но верен был он всю жизнь только своей Музе. А ей, «безумной», было глубоко безразлично, какая погода стоит на дворе, какие веянья нынче в моде. Ей нужен был Голос – единственный в своём роде, ей требовалась та единственная нота правды, которую мог извлечь из своей лиры именно этот странный человек, поэт, особняком – и непоколебимо – певший только во стане выдающихся русских певцов. **своё**

Образованнейший человек своего времени, глобально и в то же время въедливо, а главное – независимо от «мнений», осмыслявший каждую историческую деталь, он, как всякий мыслящий русский, метался меж двух извечных «проклятых» полюсов: западничества и славянофильства. В итоге его не устроило ни то, ни другое. Его интересовала и была дорога в первую очередь сама Россия, её подлинный, а не сконструированный историками и политиками всех мастей Путь. И он, как мог, нащупывал его. Эти искания отражены и в романе «Князь Серебряный», и в незабвенной книге-эпосе «Козьма Прутков», и в драматической трилогии, и в знаменитых стихотворных балладах и былинах: «Василий Шибанов», «Поток-богатырь», «Илья Муромец», «Алёша Попович», «Садко» и многих других. Более тонко, или,

точнее сказать, «неочевидно» эти же искания просматриваются в его лирических шедеврах, многие из которых положены на музыку самыми знаменитыми композиторами, Чайковским в первую очередь. «Колокольчики», «Среди шумного бала»... всех романсов и песен не перечислить, да ведь и не только в песенной лирике жила его душа. Например, выдающееся стихотворение «По гребле неровной и тряской...» не было положено на музыку. Я, во всяком случае, песенного варианта не знаю. А вот о самой песне всегда стараюсь сказать в нашей «Антологии одного стихотворения», ибо считаю – именно в песне выражена русская душа, и, следовательно, её история – вздохом, радостным выкриком, светлой грустью – не очевидно, но как глубоко выражена!

И это, и другие стихи не стали песней, а сколько в них, вечной России! Стихотворение «По гребле неровной и тряской...» настолько пронизано какой-то «неотсудной», допытливой памятью, что не могу не привести здесь хотя бы отрывки из него: **самой России**

«.....»

...сизу и смотрю я дорогой
На серый и пасмурный день,
На озера берег отлогий,
На дальний дымок деревень.
По гребле, со взглядом угрюмым,
Проходит оборванный жид,
Из озера с пеной и шумом

Вода через греблю бежит...

.....
...близ мельницы старой и шаткой

Сидят на траве мужики;
Телега с разбитой лошадкой
Лениво подвозит мешки...

.....
...и мельницы говор унылый,

И ветхое в поле гумно...

Всё это когда-то уж было,

Но мною забыто давно.

Так точно ступала лошадка,

Такие ж тащила мешки,

Такие ж у мельницы шаткой

Сидели в траве мужики,

И так же шёл жид бородатый,

И так же шумела вода...

Всё это уж было когда-то,

Но только не помню когда!»

Излишне напоминать, что слово «жид» было абсолютно нейтральным в дореволюционной России, как производное от слово в общеевропейской транскрипции. Но дело не в этом: какова тут сама картина старинной (и – вечной) России!.. *Иудей*

И жид-то – оборван, и мельница – шатка, и лошадка – разбита и ленива, и мужики – в бесконечном своём ожида-

нии. Здесь не важно чего: муки, зерна, мельника, или ещё чего-то... в России – вечное ожидание, ожидание Главного, ради чего стоит жить и действовать в этой жизни. Вот ведь что всплывает из глубин довольно раннего и незамысловатого, на первый взгляд, стихотворения. И оно, как ни странно, глубинными корнями переплетено с тем стихотворением, которое мы и положили в основу настоящей главы нашей книги.

Стихотворная притча «Государь ты наш батюшка...» написана в 1861 году. А это, как известно, год самых громких и спорных реформ Александра Второго. Год отмены крепостного права, в частности. Чего же тут спорного? Давно пора! И ведь давно, очень давно предлагалось умными и совестливыми чиновниками расстаться с этим всемирным позорищем, когда людей на борзых щенков меняли, бессудно пороли на конюшнях не только мужиков, но и баб, и детей... веками пороли. Но как с ним расстаться, с этим сладким – для помещиков и дворян, для всей доблестной аристократии – правом? Это же мафия, причём управленческая мафия!

Первым предложил отмену крепостного права «жестокый царский сатрап», «крепостник» Аракчеев. Предложил ещё Павлу Первому. И тот горячо поддержал его. Но дворянская мафия быстро убрала Павла с дороги. Александр Первый, в свою очередь, снова поддержал Аракчеева. Так ведь и новый царь не смог справиться с дворянской мафи-

ей! Она сожрала Аракчеева, и надолго похоронила идею отмены крепостного права. Почему? Были ведь среди аристократии благородные, умные люди? Были, конечно. Но ведь и они все, говоря по-современному, являлись олигархами, крупнейшими собственниками земли. Аракчеев же предлагал им – о ужас! – поделиться землёй с крестьянами, с земледельцами. Это было реформы. Аракчеев был реалист, хорошо знавший основы русской жизни, и прекрасно понимал, что безземельный крестьянин – это никто, и звать его никак. Впрочем, уже в 20-м веке ему нашлось имя – люмпенпролетариат. Аракчеев же ещё столетие назад понял, что безземельный крестьянин неизбежно хлынет в города, станет там – в лучшем случае —разнорабочим... а то и пьяницей, побирушкой. Это чревато революцией. Что история и показала со всей наглядностью. «Какой матерьялище для Революции!..» – вслед за Плехановым восхищался Ленин.

непременным условием

А Великий Некрасов, наш «заступник народный», после реформы 1861 года почему-то не впал в ликование, а написал почему-то:

«Распалась цепь великая,
Распалась и ударила —
Одним концом по барину,
Другим по мужику...»

Доныне вопрос этот крайне спорный, а уж тогда... какой взрыв эмоций, дебатов, литературной полемики он вызвал!

Реформа была ублюдочной, половинчатой – казалось одним, другие, «прогрессивные», – горячо поддерживали её... Вопрос спорный донныне. Но и тогда уже стало очевидно – безземельный крестьянин уходит в города, назревает предреволюционная ситуация.

А.К.Толстой это почувствовал одним из первых, но, в отличие от ярчайшего полемиста Некрасова, стал осознавать проблему из самой глубины русской истории.

Притча «Государь ты наш батюшка...», впрочем, вызвала множество полемических споров у современников, да и для самого Алексея Константиновича она оказалась далеко небесспорной. Настолько небесспорной, что в какое-то время он даже отказывался от неё, считая, что написано это в период увлечения славянофильством, а Толстой пришёл к выводу, что Россия является европейской страной, и русский народ – европейский. Правда, в отличие от западников, к самой буржуазной Европе относился он с большим скепсисом. В письме Тургеневу писал, в частности: «...то, к чему идёт Франция, это господство посредственности...».

Он вглядывался в глубины русской истории, и особенно его волновал один из центральных её персонажей – Пётр Первый. В период отречения от славянофильства он писал М.М.Стасюлевичу: «...Пётр Первый, несмотря на его палку, был более , чем они (славянофилы), потому что он был ближе к дотатарскому периоду... Гнусная палка Петра Алексеевича была найдена не им. Он получил её в на-

следство, но употреблял её, чтобы вогнуть Россию в её колею...» (Письмо 1869 года). Здесь очень примечательно слово «вогнуть». Нелишне напомнить, что почти так же потом пытались Россию «железной рукой вогнуть в счастье» большевики... *русский прежнюю родную*

На чём окончательно, в этом вопросе, остановился поэт и мыслитель Алексей Константинович Толстой, неизвестно. Умер он довольно рано, оставив после себя очень разнообразное – предельно честное в каждом повороте – творческое наследие.

Да и может ли быть поставлена точка в этом вопросе? Ясно одно – нам оставлена, в частности, выдающаяся стихотворная притча, выводы из которой может сделать для себя и ныне любой читатель. Тем более, что и донныне она читается так, словно написана в наши дни. То есть – навсегда.

1

«Государь ты наш батюшка,
Государь Пётр Алексеевич,
Что ты изволишь в котле варить?
– Кашицу, матушка, кашицу,
Кашицу, сударыня, кашицу!

2

– Государь ты наш батюшка,
Государь Пётр Алексеевич,
А где ты изволил крупы достать?
– За морем, матушка, за морем,

За морем, сударыня, за морем!

3

– Государь ты наш батюшка,
Государь Пётр Алексеевич,
Нешто своей крупы не было?

– Сорная, матушка, сорная,
Сорная, сударыня, сорная!

4

– Государь ты наш батюшка,
Государь Пётр Алексеевич,
А чем ты изволишь мешать её?
Палкою, матушка, палкою,
Палкою, сударыня, палкою!

5

– Государь ты наш батюшка,
Государь Пётр Алексеевич,
А ведь каша-то выйдет кртенька? *у*
– Кртенька, матушка, кртенька, *у у*
Кртенька, сударыня, кртенька! *у у*

6

– Государь ты наш батюшка,
Государь Пётр Алексеевич,
А ведь каша-то выйдет слона? *о*
– Слона, матушка, слона, *о о*
Слона, сударыня, слона! *о о*

7

– Государь ты наш батюшка,
Государь Пётр Алексеевич,
А кто ж будет её расхлёбывать?
Детушки, матушка, детушки,
Детушки, сударыня, детушки!
1861

СЛУЧЕВСКИЙ

Константин Константинович Случевский (26 июля 1837 – 25 сентября 1904гг.) принадлежит к тем выдающимся русским поэтам, чьи имена как-то слишком уж скромно, в сравнении с подлинной значимостью их творчества, обозначились в грандиозной панораме русской поэзии. Такова, например, и судьба (вплоть до «Серебряного века») младшего его современника Иннокентия Анненского. – Только в 20-30-х годах двадцатого века стало ясно, что и сам-то блистательный «Серебряный век» зарождался – по глубинной своей сути – ещё в конце 19-го века. И одним из первых его провозвестников и зачинателей был никто иной, как скромнейший человек, директор Царскосельского лицея, а главное – истинный поэт, Иннокентий Анненский. Это ныне, особенно после признаний самих лидеров «Серебряного века» (Ахматовой, например) ни у кого не вызывает сомнений.

Менее очевидно другое. Та «необычность», тот неявный, но, можно сказать, семантическиобразующий, стилевой «перекос», даже некий «вывих» зрения, лежащий в основе творчества практически всех поэтов «Серебряного века» (независимо от их самоидентификации), закладывался ещё в 80-90-х годах 19 столетия. И закладывался поэтами не самыми знаменитыми. К их числу в первую очередь можно с полной уверенностью отнести Константина Случевско-

го, старшего современника Анненского. Интересно, что год смерти обоих поэтов символически совпал: 1904-й, год трагических, революционных предвестий в судьбе России. Кажется даже, что предчувствие грандиозных преобразований, внешне выразившихся в трёх революциях и в полном переделе быта, стиля, всей жизни страны, каким-то невероятным образом – задолго до внешних событий – проявилось в творчестве этих поэтов, изнутри «взломавших» не столько форму русского классического стиха (было и это, конечно, и об этом мне уже приходилось говорить в рамках настоящей книги), сколько внутреннюю его суть, динамику, лексику стиха. Если пояснить кратко – сравните любое известное стихотворение Пушкина, и любое стихотворение Гумилёва, к примеру. И размер, и ритм, и даже тематика могут совпадать, но какое-то неуловимое, странно тревожащее различие сразу бросится в глаза. Можно даже сказать, что сам «витаминный состав» стиха явно неоднороден. И эта очевидность стала особенно ясна через столетие, в самый разгар «Серебряного века». Куда менее ясно это различие в творчестве поэтов, стоящих как бы посередине поэтического столетия, особенно у Случевского. (Год рождения его совпадает с годом смерти Пушкина, что тоже, кажется, символично). Но ведь если сравнить хотя бы экспрессию и лексику пушкинского стиха со стихом Случевского, то разница, пусть не столь явная, но в глубине своей разительная, проявится несомненно. Вот два кратких шедевра, к примеру. Один

из них со школы знают почти все, поэтому не станем цитировать целиком, приведём лишь знаменитую концовку:

«...я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимым быть другим».

Это Пушкин. А вот куда менее знаменитый (и здесь несправедливость, или, может быть, несправедливости?) шедевр Случевского: **случайность**

«Упала молния в ручей.

Вода не стала горячей.

А что ручей до дна пронзён,

Сквозь шелест струй не слышит он.

Зато и молнии струя,

Упав, лишилась бытия.

Другого не было пути...

И я прощу, и ты прости».

Та всеобъемлющая гармония, присущая поэзии «Золотого века», – даже в любовной, нередко трагической лирике, словно бы растворяется, – очень неявно, но оттого особенно тревожаще, куда-то удаляется в стихах Случевского.

Здесь не гармония в первую очередь, здесь – схватка, бой, здесь уже намечается то неистовство любви (но уже не сама Любовь, она здесь как бы во-вторых!), которому так много места будет отведено в поэзии и прозе «Серебряного века». Ученик Случевского Валерий Брюсов этому «неистовству», сжигающему пламени, фатальной гибельности любви отдал особенно много сил в творчестве. И, кажется, переусерд-

ствовал в своей прямолинейности, в любовых откровенностях. Но речь не о Брюсове и других последователях Случевского, которых в 20-м веке оказалось неожиданно много для не очень знаменитого, не очень-то заметного поэта. Речь в первую очередь о самом Случевском, тайно несшим в себе заряд такой поэтической мощности и новизны, что поэты этот заряд почуяли мгновенно, и, порою не признаваясь самим себе, стали как бы «реконструировать» – с большим или меньшим успехом – неуловимый стиль поэта. Для большинства же читателей этот «заряд» увиделся с большим запозданием, увы.

Вообще-то вина здесь не столько самого поэта, сколько его внешней биографии. За Случевским не стояло явной романтической, так называемой «поэтической легенды», как у Лермонтова, например, или «есенинских скандалов», несущих и поныне славу для деятелей всех родов культуры, славу порой мировую, и уж куда неизмеримо большую, нежели собственно творческая...

А тут ещё – знатное происхождение, и – «почти никакая» – биография...

Сын высокопоставленного сановника, он с детских лет просто обречён был на блистательную чиновничью или военную карьеру. С отличием окончил 1-й кадетский корпус в Петербурге, служил в Гвардии, потом поступил в Академию Генерального штаба... а потом вдруг в 1860-м году вышел в отставку и уехал учиться за границу. Получил сте-

пень доктора философии, повидал всю Европу, а в 1866 году вернулся на родину. Поступил в Главное управление по делам печати, откуда в 1874 году перешёл в министерство государственных имуществ, и стал неуклонно подниматься по служебной лестнице. Был главным редактором «Правительственного вестника», состоял членом Совета министров, членом Учёного комитета министерства народного просвещения, имел придворное звание гофмейстера... ну какая тут «поэтическая легенда»? Какая тут «скандальная слава»? Да и была ли она ему нужна? Скорее, он её, шумной славы, попросту сторонился, будучи всю жизнь самым последовательным и твёрдым сторонником «чистого искусства», что, впрочем, не мешало время от времени писать стихотворную публицистику. Это не было сильной стороной творчества, и это поэт прекрасно сознавал, но как православный человек, державник, считал своим долгом откликаться на крупные общественные и церковные события. Явному официозу в собственном творчестве он, кажется, не придавал большого значения, но лучшие стихи социального, общегражданского плана включил в своё собрание сочинений. И среди них есть подлинные шедевры, один из которых мы и предложим сегодня читателю целиком

в нашей «Антологии одного стихотворения» – «После казни в Женеве».

Но перед тем хотелось бы сказать несколько слов о другом его шедевре, где выражено собственно творческое кредо по-

эта. Судя по внешней биографии, хочется второпях воскликнуть – ну какое здесь может быть Благополучный чиновник, богач, позволявший себе многие годы устраивать для поэтов любых сословий знаменитые на весь Петербург «Поэтические пятницы» с непременно угощением и возлияниями, – ну что ему ещё-то нужно было от этой жизни? Бери от неё всё, а на досуге, пожалуй, балуйся себе стишками... **кредо?**

Эта пошлость присуща нынешнему времени – «Бери от жизни всё», «Не дай себе засохнуть», – и проч., и проч., и проч... но настоящий русский поэт, глубочайшая натура, сильнейший талант – всё это брало верх над пошлостями и мелочностью житейской. Это и позволило ему создать такой потрясающий цикл, как «Мефистофель», такую мистерию, как «Элоа» (современники её всерьёз сравнивали лишь с лермонтовским «Демоном»!), такую эпическую поэму, как «В снегах»... перечислять все вершинные достижения Случевского дело неблагодарное. Поэта, по большому счёту, ещё только предстоит открывать для себя взыскательному читателю – полтора века спустя!..

А поэтическое кредо Случевского выражено, как ни странно, в произведении, словно бы начисто отрицающем все стихотворные потуги, вскрывающем их тщету последовательно, строфа за строфой. Это одно из самых знаменитых его стихотворений. Во всяком случае, оно чаще других цитируется и встречается в хрестоматиях.

«Ты не гонись за рифмой своенравной

И за поэзией – нелепости оне:

Я их сравню с княгиней Ярославной,

С зарёю плачущей на каменной стене...

.....
...но это вздор, обманное созданье!

Слова – не плоть... Из рифм одежд не ткать!

Слова бессильны дать существованье...»

Даже по этим отрывкам чувствуется – очень непростые были отношения у поэта со словом, с поэзией. Человек недюжинного ума, вполне сознающий, вроде бы, нелепость современного творчества («Ведь умер князь, и стен не существует...»), тем не менее, он

с ранней юности до последних дней писал: писал и прозу, и статьи, и, конечно же, стихи.

Можно сказать – разгадка этого противоречия в том, что недюжинный ум поэта перевешивался ещё более недюжинным талантом. И это, вероятно, будет небезосновательной догадкой. Но не совсем полной. Сам стиль его, так поражавший современников – с нарочитыми перебивками размеров, с несочетаемой, казалось бы, лексикой (частая смесь «низкого» с «высоким», возвышенно-романтического с диковинными прозаизмами, и др.) – таит в себе другую часть разгадки феномена Случевского. Он один из первых почувствовал: писать, как прежде, уже не получится

по-настоящему, что-то предгрозовое носится в самом воздухе эпохи и разрушает, подтачивает – ещё пока незримо,

неявно – основы гармонии «Золотого века». И, значит, следует отбросить все иллюзии, не плестись в толпе имитаторов гармонии, а попытаться выразить всю сложность подступающих новых времён – с их ломаными ритмами, астматическим дыханием, неслыханной дотоле в «изящной словесности» лексикой. И не бояться быть осмеянным критикой за пресловутую «смесь французского с нижегородским». Для этого нужно было иметь не только недюжинный талант, но, может быть, в первую очередь, истинно поэтическое, безоглядное мужество. И совершенно незашоренный, честный и ясный взгляд на современный ход вещей. Тем более, что поэт точно знал и чувствовал: поэзия бессмертна, невзирая на все доводы разума. И завершил своё стихотворение-кредо так: **той**

.....
«...смерть песне, смерть! Пускай не существует!..

Вздор рифмы, вздор стихи! Нелепости оне!..

А Ярославна всё-таки тоскует

В урочный час на каменной стене...»

Полвека спустя то же самое, в сущности, скажет поэт иных времён, Владимир Маяковский. Скажет грубо, но «весомо и зримо»:

«...поэзия —

пресволочнейшая штукovina,

Существует,

и ни в зуб ногой...»

Стихотворение же, которое мы предлагаем сегодня читателю, стот вообще словно бы особняком в русской поэзии 19-го века. Пожалуй, лишь Фёдор Достоевский (высоко чтимый Случевским) сумел так сильно поднять эту, одну из самых болезненных тем времени, тему публичной казни. Но если у Достоевского – в монологе князя Мышкина, например – описание казни подаётся словно бы нарочито сдержанно, состоит из детального описания процедуры, которую писатель испытал на самом себе, и ужас возникает из самой безощечности, «заземлённости» этого описания, то у Случевского, всего лишь наблюдавшего со стороны реальную казнь в Европе, вдруг проступает такая *и*

метафизика в стихах, что и полтора века спустя вызывает изумление: каквообще могло быть почувствовано, увидено, – написано?! **такое**

Впрочем, эти потрясающие стихи не нуждаются в каких-либо комментариях. Пусть современный читатель, нечасто натыкающийся на сборники Случевского, сам прочтёт и оценит этот, никак не старящийся во времени, шедевр.

«После казни в Женеве»

Тяжёлый день... Ты уходил так вяло...

Я видел казнь: багровый эшафот

Давил как будто бы сбежавшийся народ,

И солнце ярко на топор сияло.

Казнили. Голова отпрянула, как мяч!

Стёр полотенцем кровь с обеих рук палач,

А красный эшафот поспешно разобрали,
И увезли, и площадь поливали.
Тяжёлый день... Ты уходил так вяло...
Мне снилось: я лежал на страшном колесе,
Меня коробило, меня на части рвало,
И мышцы лопались, ломались кости все...
И я вытягивался в пытке небывалой
И, став звенящею, чувствительной струной, —
К какой-то схимнице, больной и исхудалой,
На балалайку вдруг попал едва живой!
Старуха страшная меня облюбовала
И нервным пальцем дёргала меня,
«Коль славен наш Господь» тоскливо напевала,
И я вторл ей, жалобно звеня!..» *и*

Апухтин

Алексей Николаевич Апухтин (1840—1893) известен широкому читателю более всего как певец «цветов запоздалых». Его романсы доныне очень популярны благодаря счастливому сочетанию прекрасных стихов и музыки П. И. Чайковского, друга всей его жизни – с ученической скамьи до самых последних дней. Стоит вспомнить лишь некоторые, наиболее знаменитые романсы: «День ли царит», „Ночи безумные, ночи бессонные“, „Ни отзыва,

ни слова, ни при-
вета», «Забывать так скоро» и, конечно же, великую песню
«Пара гнедых». Хотя
это и перевод из Донаурова, но, как нередко случается
с гениальными пере-
ложениями (Пушкина из Мицкевича, Лермонтова из Гете,
Гейне, Зейдлица и
др.) на русской почве стихи эти стали родными – народ-
ными. Бесспорно, од-
ного факта неувядаемости песен и романсов Апухтина до-
стало бы для призна-
ния его творчества явлением незаурядным. Но мне думает-
ся, что Апухтину
русская поэзия обязана гораздо большим. Этот малоупо-
минаемый ныне поэт,
вообще не бывший никогда особенно громким и не очень-
то к тому стремив-
шийся, по-видимому, почти в полном одиночестве сумел
найти и мощно разра-
ботать свою «жилу», свою форму, которая столетие спустя
развилась в целый
стихотворный жанр, весьма активно эксплуатируемый по-
этами 20 века. Этот
жанр можно обозначить как сжатую стихотворную по-
весть, главную энергетику
которой составляет напряженный, остро-психологиче-

ский сюжет. По родовым признакам это не поэмы, даже и не повести в классическом понимании, но скорее всего – большие сюжетные стихотворения, к жанру повести, впрочем, явно тяготеющие. Кажется, им так и не найдено единственно бесспорного наименования, чему во многом способствует сама маргинальность жанра. Тем не менее, активно используемая русскими советскими поэтами эта форма традиционно именуется поэмой. «Маленькая поэма» – настойчиво подчеркивали авторы, ни один из которых, кажется, так и не решился назвать своего предтечу – Алексея Апухтина. То ли немодным считалось в бодрые советские годы апеллировать к «упадническому» лирику, провинциалу из орловского захолустья, затворнику своей «Обломовки», то ли попросту искренне забыли о его существовании, но ни А. Тарковский, ни Д. Самойлов, ни А. Кочетков, ни В. Федоров, ни другие наши поэты, частенько обращавшиеся к этому жанру, так и не сослались, хотя бы с оговоркой, на своего предшествен-

ника. Впрочем, дай

Бог мне ошибаться, и я просто не встретил подобных упоминаний.

Мало известна и проза поэта, оставшаяся после смерти в ящиках стола.

«Дневники Павлика Дольского», «Архив графини Д», «Между жизнью и смертью»

– проза эта незаурядная, но к сожалению так и не ставшая широким общест-

венным достоянием. А фантастический рассказ «Между жизнью и смертью» мог

бы, мне кажется, заинтересовать нынешнего читателя, особенно тяготеющего к

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.